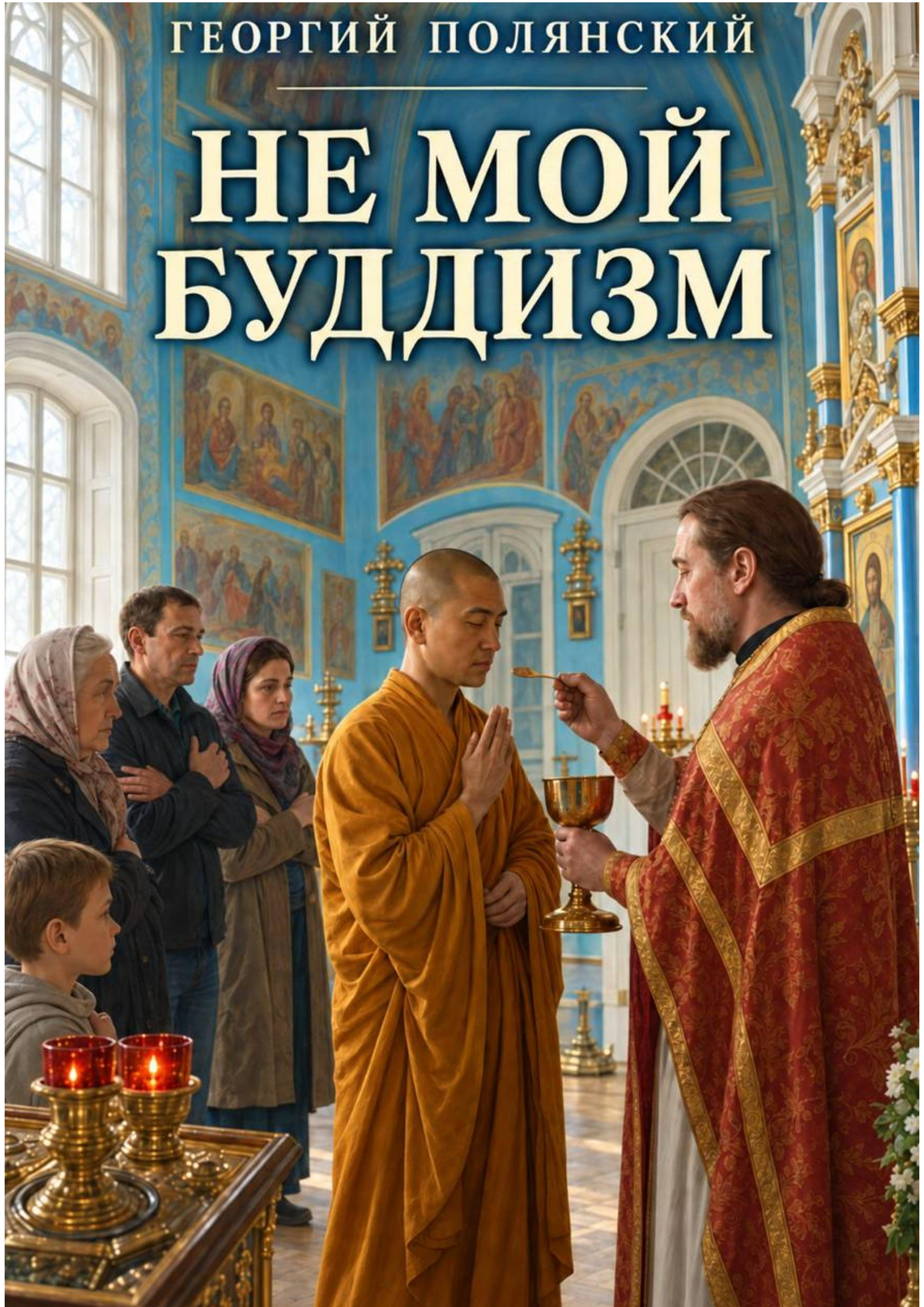


ГЕОРГИЙ ПОЛЯНСКИЙ

НЕ МОЙ БУДДИЗМ



Георгий Полянский

Не мой Буддизм

«Автор»

2026

Полянский Г.

Не мой Буддизм / Г. Полянский — «Автор», 2026

«Не мой буддизм» — не руководство по медитации и не попытка опровергнуть чужую веру. Это личное исследование буддийской мысли в её сильнейших точках: дуккха, непостоянства, отсутствия неизменного «я», пустоты, сострадания. Психология переживания постепенно сменяется историей канона, монастыря, государства, войны и современной терапии. Буддизм помогает автору отделить боль от приговора, а поступок — от автоматической реакции. Но не убеждает его отказаться от реальности личности, ответственности, мира и Бога. Развод (с женой), кредиты и гроза, увиденная из церкви на вершине холма, становятся частью философского спора: если человек возник из движения жизни и зависит от множества условий, означает ли это, что он всего лишь мираж? Книга будет интересна читателям, готовым спорить с великим учением, не упрощая его и не отказываясь от собственного личного опыта, которого в буддизме не существует.

© Полянский Г., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Две стрелы	5
Глава 2. Нагасена	17
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Георгий Полянский

Не мой Буддизм

Глава 1. Две стрелы



Стрела уже вошла в тело. Это случилось: остриё пробило кожу, человек чувствует боль. А следом летит вторая — и её выпускает не враг. Человек пугается того, что будет через минуту. Требуется, чтобы случившееся немедленно стало неслучившимся. Бежит от ощущения, от которого нельзя убежать, потому что оно бежит вместе с ним. Теперь болит не только рана. К ней прибавились страх, гнев и мысль «я больше не могу» — а этой мысли остриё не нужно, она режет сама.

Сравнение с двумя стрелами придумано не вчера. Ему две с половиной тысячи лет, оно записано в одном из ранних буддийских текстов. Необученный человек, говорит текст, поражённый болезненным ощущением, словно получает два ранения. Обученный ученик чувствует ту же боль — тело его не стало неуязвимым, — но второй раны себе не наносит. Всё различие между ними начинается после первого удара.

За эту картину не обязательно держаться как за древность. Она описывает работу, которую каждый из нас проделывает по многу раз на день и почти никогда не замечает. Событие уже произошло и кончилось, а сознание продолжает его строить: пристраивает к настоящей минуте воображаемое будущее, превращает ощущение в приговор, а приговор подшивает к делу — к тому человеку, которым мы себя считаем.

Я развёлся. Каждый месяц я разбираюсь с кредитами, которым нет дела до моего душевного равновесия. Достраивать беду поверх беды я умею сам, без древних наставлений — каждую ночь и бесплатно. Но убежища я в буддизме не ищу и благодарственного письма ему писать не собираюсь. Чем точнее он описывает отдельные движения ума — а описывает он их поразительно точно, — тем яснее проступает место, где я с ним не согласен. Самое сильное его наблюдение звучит так: человек страдает не только от того, что с ним случилось, но и от хватки, которой он держит случившееся, — и вторая часть боли принадлежит ему самому. Это правда, и я проверил её на себе. Спор начинается на следующем шаге. Из того, что я умею умножать

свою боль, ещё не следует, что изменчивость мира — поломка, а спастись надо, отвязывая себя от всего, что можно потерять.

Сознание достраивает боль быстрее, чем врач успевает её осмотреть.

Человек сидит в приёмном покое. У него болит живот. С самой болью он обращается разумно: может показать, где болит, согласиться на обследование, дожидаться результата. Но в те же полчаса его ум успевает прожить десяток будущих смертей. Вот врач выходит с бумагой и отводит глаза. Вот семья у больничной кровати. Вот всё несказанное и недожитое. Тело послало один сигнал — воображение выстроило из него целую погибшую жизнь.

Сообщение из банка устроено так же, только приходит ночью. В нём есть дата и сумма — это не иллюзия, деньги в самом деле придётся найти. Но за несколько секунд сумма успевает вырасти в картину полного разорения, картина — в обвинение себе за все прежние решения, обвинение — в приговор остатку жизни. Утром я могу открыть расчёты, перенести платёж, позвонить в банк. Ночью сознание не решает ни одной из этих задач. Оно занято другим: снова и снова переживает катастрофу, которой нет.

У этой достройки есть измеримое устройство. В лаборатории боли доброволец кладёт ногу под нагревательную пластину. Жар настоящий, на границе терпимого — так подобрано. Потом ему задают два вопроса, которые звучат как один: насколько сильно жгло — и насколько тяжело было это выносить? Часть добровольцев перед опытом училась простому приёму: замечать ощущение, не борясь с ним, как замечают звук за окном. Жар эти люди оценивали почти так же, как остальные. А вот выносить его им было заметно легче. Сигнал один — мучение разное. Между «как сильно болит» и «как тяжело терпеть» обнаружился зазор, небольшой, но настоящий, и в этом зазоре помещаются внимание, ожидание и страх.

У психологов боли есть слово для второй стрелы, пущенной с размахом, — катастрофизация. Оно не значит, что человек притворяется или выдумывает боль. Оно называет три движения вокруг совершенно настоящей боли. Внимание снова и снова возвращается к ощущению, как язык к больному зубу. Угроза растёт: если болит сейчас, дальше будет только хуже. Потом приходит беспомощность: сделать ничего нельзя, я этого не выдержу. Ни одно из трёх движений не выбрано нарочно. Катастрофическая мысль возникает раньше, чем человек успевает её заметить, — потому и спрос с него начинается не с вины, а с различения: вот ощущение, вот прогноз, вот желание немедленно избавиться от обоих, а вот действие, которое может помочь на самом деле.

Здесь же виден и предел этого различения. После самого спокойного вдоха сумма в сообщении не уменьшается ни на рубль. Мир — не экран, на который ум проецирует свои страхи. Он отвечает нам долгом, болезнью и последствиями наших же поступков. Первая стрела не выдумана.

Сравнение с двумя стрелами становится жестоким в ту минуту, когда всякую душевную боль объявляют второй стрелой.

После смерти близкого человек страдает не потому, что неправильно думает. Исчезли голос, прикосновение, возможность следующей встречи. Дом перестроился вокруг пустого места. Будущее, которое двое молча считали общим, больше не наступит. Это горе принадлежит самой ране, а не рассуждению о ране. Плач не доказывает неумения владеть собой. Тоска не обязана быть сопротивлением реальности — иногда она просто способ, которым любовь продолжает существовать после того, как любить стало некого.

Но и вокруг горя вырастают добавочные правила, и вот они уже — вторая стрела. Вдова впервые после похорон смеётся — и пугается: если мне смешно, значит, я предала. Отец перебирает последние слова сына и требует от памяти найти ту фразу, которая могла бы всё отменить, — память не находит, он начинает сначала. Человек сравнивает свой траур с чужим и признаёт себя виновным то в чрезмерной боли, то в недостаточной.

Провести точную границу между раной и достройкой не всегда возможно. Одна и та же мысль сегодня хранит связь с умершим, а завтра становится орудием самоистязания. Метафора двух стрел не выдаёт судейской линейки — она выдаёт только вопрос: что именно сейчас болит? Отсутствие человека? Вина за несказанное? Страх забыть голос? Обязанность страдать, чтобы доказать любовь? Пока вопрос не задан, всё это переживается одной неподъёмной массой. После него боль не исчезает — но становится видно, из чего она сложена.

А если этой метафорой начинают судить чужое горе, вторая стрела просто меняет руку. Теперь её выпускает тот, кто объясняет плачущему, что тот горюет неправильно.

Развод — не смерть, но и в нём исчезает общий мир. Перестает существовать будущее, которое двое какое-то время считали своим. Мне было бы удобно объявить эту боль цеплянием за ушедшую форму — тогда задача выглядела бы почти технически: заметить привязанность, разжать пальцы, освободиться. Но распавшийся союз был реальностью, а не ошибкой восприятия. В нём были обещания, и были годы, когда они исполнялись. Боль после разрыва сообщает не только о моём неумении принять перемену. Она сообщает, что нечто настоящее было построено и настоящим же образом разрушилось. Иногда боль — не мусор вокруг события. Иногда она — след ценности.

Чувство плохо предсказывает собственное будущее — а говорит о нём увереннее всего.

Тревога никогда не сообщает просто «мне страшно». Она сообщает «так будет всегда». Горе не ограничивается утратой — оно добавляет «я не оправлюсь». Стыд превращает один поступок в пожизненное свойство: не «я солгал», а «я лжец». У каждого сильного чувства в кармане лежит справка о вечности, и выдало эту справку оно само.

Проверить справку можно — и её проверяли на людях, у которых беда стояла в календаре. Молодых преподавателей, ждавших решения о пожизненной должности, спрашивали, как долго они будут раздавлены отказом. Влюблённых — как переживут разрыв. Избирателей — что с ними станет, если их кандидат проиграет. Потом жизнь делала своё, и тех же людей находили после отказа, после разрыва, после проигрыша. Раз за разом выходило одно и то же: полоса оказывалась короче и светлее обещанной. Люди забывали посчитать работу времени, смену внимания, собственную способность объяснить себе событие и жить дальше. Из этого не следует, что всякая потеря быстро зарастает, — некоторые меняют жизнь насовсем. Следует более узкое и более полезное: чувство хорошо докладывает о настоящем, но не имеет никакого особого знания о будущем. Слова «я никогда не оправлюсь» произносит сегодняшний человек — от имени человека, которым он ещё не стал и которого не спросил.

Так вторая стрела получает длительность. Боль живёт сейчас, а ум растягивает её на завтра, на год, на весь остаток, — и начинает отвечать на это выдуманное будущее так, словно оно уже наступило. Человек боится не одной боли, а тысячи её воображаемых повторений.

С кредитами это видно как под лампой. В таблице стоит десяток будущих платежей, у каждого своя дата. В тревоге они сливаются в одну гору, которую будто бы нужно сдвинуть сегодня к полуночи. Исчезают месяцы между платежами, будущая работа, решения, которых я ещё не принял, — остаётся человек, навсегда придавленный суммой. Образ ложный, но долг настоящий: если только успокаивать сознание, проценты продолжают капать. Приходится держать обе вещи разом — платить и не соглашаться, чтобы платёж стал моим полным описанием.

Тот же механизм работает и на светлой стороне, только его труднее заметить. Влюблённый ждёт, что найденное чувство закроет все прежние дыры. Получивший должность ждёт, что теперь-то окончательно узнает себе цену. Первые недели его поздравляют, новое название появляется под подписью в письмах. Потом окружающие привыкают. Должность на месте — а человек снова сомневается в себе, и сомневается больше прежнего, потому что ждал от успеха не нескольких приятных месяцев, а пожизненного ответа на вопрос, чего он стоит. Удовольствие должно было не просто случиться. Оно должно было навсегда закрыть тревогу — а это работа, которой не выдерживает ни одно удовольствие на свете.

Когда переживание становится невыносимым, первый порыв самый простой: запретить его. Не думать. Не бояться. Не вспоминать.

У этого порыва есть русская родословная. «Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, — писал Достоевский, вернувшись из Европы, — и увидите, что он, проклятый, будет поминутно припоминяться». Сто с лишним лет спустя эта фраза попала в американскому психологу, и он решил проверить её буквально. Студента сажали в комнату и просили пять минут думать вслух о чём угодно — кроме белого медведя. На случай, если медведь всё-таки явится, на стол ставили колокольчик. Колокольчик звонил не переставая. А когда запрет снимали, медведь приходил чаще всего к тем, кто старательнее всех его гнал, — проклятый зверь, которого никто из этих студентов годами не вспоминал, теперь являлся без приглашения. Причина слышна в самой инструкции: чтобы убедиться, что запретной мысли нет, ум должен её искать. Он сторожит дверь, у которой никого не должно быть, — и потому не может от этой двери отойти. Команда «не думай» сама держит образ наготове: как иначе проверить её исполнение?

Белый медведь — не смерть близкого и не хроническая боль; задачка Достоевского не даёт закона на все случаи жизни. Она делает видимой одну операцию: иногда попытка вытолкнуть переживание требует постоянно держать его в поле зрения. Ночью человек просыпается от тревоги и постановляет: я обязан немедленно успокоиться, иначе завтра всё испорчу. Через минуту он проверяет, спокоен ли уже. Потом ещё раз. Каждая проверка заново находит тревогу и измеряет её. Он уже не просто тревожится — он следит за тревогой, ждёт её ухода и пугается, что она всё ещё тут. Сторож не спит — и дому не даёт.

Буддийская практика предлагает другой первый жест. Болезненное чувство можно заметить как болезненное чувство — не превращая его тут же в приказ исчезнуть. Гнев можно узнать в лицо до того, как он станет обвинительной речью. Это не покорность. Между «я злюсь» и «я должен уничтожить источник злости» появляется промежуток, и в этом промежутке ещё можно выбирать.

Одна оговорка обязательна. Не всякая возвращающаяся мысль держится на запрете. Банк напомнит о платеже сам. Бывшая жена останется частью биографии без всякого моего усилия. Тело повторит боль, пока не устранена причина. Сознание иногда возвращается к предмету потому, что предмет продолжает существовать. Отличить сопротивление от настоящей незавершённости труднее, чем разрешить себе думать о белом медведе, — и никакой медведь этой работы за человека не сделает.

Та же сцена меняется от того, откуда на неё смотреть.

Человека сажают в тихую комнату и просят вернуться в эпизод, от которого он до сих пор сжимает кулаки. Одним велят смотреть изнутри, собственными глазами, как будто всё происходит снова. Другим — отойти: увидеть себя со стороны, издалека, и спросить, почему событие так задело вон того человека. Первые разогреваются заново, почти как в жизни. Вторые думают о том же самом — и не загораются. Воспоминание общее. Расстояние разное.

Расстояние легко подделать. Человек может говорить о своём горе ровным голосом, правильными словами, — и оставаться полностью захваченным: он повторяет чужие формулы, а внутри судит себя тем же судом. Дистанция — не холодность и не словарь. Это положение наблюдателя внутри собственного рассказа.

Его выдаёт язык, хотя ни одна формула не работает как заклинание. «Он унизил меня» — говорящий стоит в центре сцены, и сцена крутится. «Возникло чувство унижения» — поступок другого никуда не делся, но чувство стало предметом, на который можно смотреть, а не всей комнатой, в которой заперт смотрящий. Обычное сознание не просто чувствует — оно немедленно назначает владельца: моя боль, моя обида, моя история. Человек замечает вспышку гнева и почти одновременно говорит «я зол». Ещё через минуту — «я всегда был таким». Состояние длиной в полминуты стало свойством, свойство — биографией.

Буддийский анализ пока не спрашивает, существует ли владелец. Он делает более скромную и более полезную вещь: замедляет присвоение. Возник гнев. Возникло узнавание гнева. Возникла мысль, что гнев — часть меня. Три события, а не одно, и между ними — щели, в которые может войти вопрос.

С первой половиной этого движения я согласен целиком. Личность не сидит внутри человека маленьким начальником, который заранее читает все бумаги и нажимает все кнопки. Она складывается — из тела и памяти, из языка, который дали другие, из решений, которые человек принял сам. Самосознание производно, это для меня не уступка буддизму, а простая честность о том, как мы устроены.

Но производное не значит ложное. Молния тоже не хранится в облаке готовой — нет такого ящика, где лежали бы молнии. Она возникает из движения воздуха, воды и заряда, а потом бьёт в землю — и подожжённый ею дом горит по-настоящему.

Палийское слово «дуккха» по-русски чаще всего передают как «страдание» — и вместе с переводом в буддизм въезжает чужой пассажир. Русское «страдание» — слово с биографией: страдалец терпит, жертвует собой, через муку нравственно возвышается. В буддийском рассуждении мука никого не возвышает и ничего не освящает. Её предлагается понять и прекратить — отношение скорее врачебное, чем героическое.

Подставить другое слово не получается: каждое ловит свой кусок и упускает остальное. «Неудовлетворённость» звучит так, будто человеку мало денег или впечатлений, — а он может быть вполне доволен вечером и разговором; вопрос лишь в том, может ли это довольство гарантировать своё продолжение. «Стресс» хорошо называет напряжение и никак не касается старости и смерти. «Ненадёжность» слышит зависимость от условий — и глохнет рядом с настоящей физической болью.

Трудность сидит глубже, в самом устройстве древней фразы. По-русски страдание — всегда чьё-то: это состояние того, кто страдает, и без страдальца слово повисает. А в раннем тексте дуккхой названо не только болезненное чувство. Есть формула, где этим словом характеризуется всё, что собрано из условий, — вообще всё: тело, дом, погода, дружба, вчерашняя радость.

Подставим сюда русский перевод и прочитаем, что получилось: «всё собранное из условий есть страдание». Выходит, что страдает чашка на столе — она ведь тоже собрана из условий, из глины и обжига. Страдает дорога. Страдает приятная мысль. Вещи, у которых нет и не может быть никакого «внутри», оказываются тайными мучениками, и вся фраза превращается в мистическую чепуху.

Значит, подставили неверно. Древняя формула говорит не о чувстве вещей, а об их устройстве: то, что зависит от условий, не может обещать, что останется прежним и будет доступно всегда. Не «всё страдает», а «ничто собранное не выдаёт гарантий». Страдает от этого по-прежнему только тот, кто способен страдать, — но повод разлит по всему, за что он держится.

Раз одним русским словом не обойтись, попробую сказать целым предложением, чего это слово держится.

Дуккха — это несовпадение между тем, чем собранное может быть, и тем, чего мы от него требуем. Всё, что нас держит, собрано из условий и держится только пока условия стоят; а мы обращаемся к нему как к опоре, которая не подведёт. Требование гарантии, обращённое к тому, что гарантий не выдаёт, и есть больное место. Оно не в вещах — вещи просто зависимы. Оно и не в человеке отдельно — сам по себе он бы не мучился. Оно ровно в зазоре между ними, и живёт этот зазор всё время, пока мы опираемся.

Само это слово — «дуккха» — традиция объясняет через ось и колесо. Хорошая ось входит в ступицу так, что колесо идёт ровно, — это «сукха». Ось, сидящая плохо, даёт трясушийся ход: колесо крутится, повозка едет, а трясёт всю дорогу — это «дуккха». Не поломка,

при которой всё встало. Рабочий ход с постоянной тряской, к которой привыкаешь и перестаёшь замечать, — пока на очередной выбоине не отзовется в позвоночнике.

Поэтому слово останется непереверённым, а пояснение будет меняться вместе с предметом. Возле раны оно значит боль. Возле утраты — тяготу. Возле счастливого, но уходящего часа — уязвимость. Одно слово покрывает путь от прострела в спине до тихого факта, что спокойное утро не подписывало с вами договора.

До русского читателя учение обычно доходит в виде фразы «жизнь есть страдание». В раннем тексте такой фразы нет.

Вместо неё стоит перечень, спокойный, как список в приёмной у врача: рождение, старение, болезнь, смерть; встреча с неприятным, разлука с приятным; невозможность получить желаемое. В конце перечень сжимается в короткое обобщение: дуккха — это всё, из чего человек составляет себя и за что держится.

Проверить обобщение можно на себе, за одну минуту. Спросите человека, кто он, — и вы услышите список: инженер, отец двоих детей, хозяин старой дачи, тот, кто пробегает по утрам пять километров. Каждый пункт этого списка — держащая опора, и каждый стоит на условиях, которых человек не выбирал. Работа кончается вместе со спросом на неё. Дети вырастают и переезжают в другой город. Дача сгорает или продаётся при разделе. Колени однажды сообщают, что пять километров им больше не по силам. Ни один пункт не сломан, все настоящие — и ни один не давал гарантии длиться постоянно.

Само по себе это ещё не беда, а просто устройство мира: всё конечно во времени. Беда начинается там, где человек не просто пользуется опорой, а стоит на ней всем весом — и составляет из этих пунктов ответ на вопрос, кто он такой. Тогда закрывшееся производство отнимает не заработок, а «инженера». Выросшие дети забирают не хлопоты, а «отца». Проданная дача уносит не шесть соток, а того, кто каждую весну открывал этот дом. Человек цел, ничего в нём не сломано — а на вопрос «кто я» ответить нечем.

Вот эта болезнь и названа: не конечность вещей, а требование вечности, предъявленное к тому, что кончается, — и жизнь, выстроенная на этом требовании. Названа болезнь, а не вынесен приговор. За названной болезнью в том же рассуждении идут её причина, возможность её прекратить и способ это сделать: четыре шага одного разбора, из которых мы сейчас стоим на первом. Врач, называющий перелом, не утверждает, что человек весь сводится к сломанной кости. Но пока перелом не назван, непонятно, почему болит и что делать.

Рождение стоит в списке не потому, что младенец обязан ежесекундно мучиться, — а потому, что с живым телом в мир приходит сама возможность раны и смерти. Старение — не непрерывная боль, а растущий зазор между желанием сохранить прежние возможности и телом, которое идёт своей дорогой. Разлука с приятным — тот же зазор в отношениях: любимый человек не становится нашей собственностью оттого, что мы его любим.

Список опор — это взгляд на жизнь целиком, с высоты биографии. Но то, из чего человек составляет себя, можно поймать и в одном переживании, длиной в минуту, — и там разобрать по частям.

На экране телефона появляются четыре слова: «Нам нужно поговорить». У события есть телесная сторона — рука держит телефон, плечи уже напряглись. Есть чувство — неприятно, и это ясно раньше всяких мыслей. Есть узнавание — знаки сложились в слова, стало понятно, от кого они. Есть побуждения — ответ уже готовится, оправдание уже пишется. И есть сознание, которое всё это удерживает как своё содержание. Вот они, стороны одного мгновения, — то самое, из чего человек составляет себя: тело, чувство, распознавание, побуждения, сознание. Буддийский разбор называет их совокупностями и говорит, что ни одна не есть «я».

Дальше всё идёт само, без единого решения. Память услужливо выбирает три недавние ссоры — хотя могла выбрать три примирения. Воображение дописывает недостающий разговор до расставания. Тело отвечает на расставание, которого нет. Появляется вывод: «меня все-

гда бросают». Четыре слова на экране стали биографией — за время, которого не хватит вскипятить чайник. Ни один шаг в этой цепочке не был глупым: может, отношения и правда под угрозой. Но человек уже час отвечает на воображаемый разговор — пишет длинное оправдание, стирает, проверяет, когда собеседник был в сети. Предположение перестало быть одной из версий. Оно стало событием.

Разбор возвращает пропущенные ступени, как замедленная съёмка. Сообщение было коротким. Чувство было неприятным. Память выбрала — из всего запаса три ссоры. Воображение достроило — до расставания. Побуждение потребовало — оправдываться.

И вот теперь видно, что «меня всегда бросают» не содержалось в четырёх словах на экране. Оно собрано по дороге, из готового материала, за несколько секунд. Между сообщением и приговором оказалась не пустота, а работа — а всякую работу можно остановить или переделать.

Человек говорит про всё это: моё тело, моё чувство, моя мысль, моё решение. Слово «моё» кажется самым естественным на свете — пока каждая из этих вещей слушается. Проверка занимает десять секунд. Человек решает не вспоминать неприятный разговор — и само распоряжение возвращает разговор в сознание. Пытается вызвать по заказу прошлогоднюю радость — воспоминание приходит, чувство не приходит. Владение обычно предполагает, что вещью можно пользоваться по воле владельца. С внутренним опытом эта воля исполняется через раз.

С разбором трудно спорить, и я не буду. Спорить буду с выводом. Из того, что среди пяти совокупностей не находится отдельная деталь по имени «я», ещё не следует, что человека нет. Мелодия тоже не прячется между нотами отдельной нотой. Разберите её на звуки — мелодии не останется ни в одном. Но она есть: в порядке, в паузах, в том, как один звук продолжает другой. И её можно испортить, и по ней можно тосковать. Личность может быть устроена как мелодия — не фундаментом под звуками, а самим их согласием. Развод причиняет боль не потому, что две вечные сущности перестали соприкасаться. А потому, что кончилась общая мелодия, которую двое действительно играли.

У дуккхи есть три глубины, и с двумя первыми согласится каждый, кто жил.

Первая — просто боль: ожог, болезнь, страх, горе. Тут нечего переводить и нечего объяснять. Человеку плохо, и он это знает.

Вторая прячется в изменении. Радость встречи — не тайная мука; пока друг сидит напротив, разговор в самом деле греет. Боль приходит не потому, что приятное было ложью, а потому, что его нельзя удержать в прежнем виде. Вечер кончается. Люди расходятся. Попытка заставить мгновение остаться превращает его уход в борьбу — и вот уже сам уход болит сильнее, чем должен был.

Третья глубина труднее всего, потому что может вовсе не ощущаться как несчастье.

Семья завтракает. Ребёнок здоров, спешить некуда, за окном тихо. Радость настоящая, без всякой червоточки. И держится это утро на работе, которая не прекращается ни на секунду: сердце качает кровь, лёгкие берут воздух, память держит в целости всех, кто сидит за столом, дом стоит на фундаменте, за окном не воюют. Ничего из этого не делается само и навсегда — всё поддерживается, каждую минуту, и большая часть работы идёт без нашего ведома и вне нашей власти.

Вот на это устройство и указывает третья глубина. Не «утро плохое» и не «радость обманула» — а: то, из чего собрано хорошее утро, не имеет в себе никакой опоры, кроме условий, которые кто-то или что-то держит.

А человек живёт так, будто мир ему обязан. Обязан быть здоровым завтра, обязан оставить рядом тех же людей, обязан подтвердить, что всё устроено правильно. Мир никогда не ведёт себя как обязанный — и не потому, что зол, а потому, что не может: он весь состоит из условий, которые сами держатся на условиях. И начинается бесконечное подравнивание:

подтянуть, укрепить, застраховать, проверить, — тревожная работа, которой не видно конца, потому что закончить её нельзя в принципе.

Дуккха третьей глубины — не в утре. Она в требовании расписки, которое человек предъявляет утру, и в бессрочной работе по добыванию этой расписки.

Древняя формула сжимает это до предела: всё обусловленное — дуккха. На русский слух выходит, будто страдать должен каждый предмет. Но сломанный стул ничего не чувствует. Чувствует человек — и вот как.

Если треснул стул в приёмной, посетитель пересаживается на соседний и забывает об этом через минуту. Если сломался стул, который своими руками сделал умерший отец, — хозяин собирает щепки и ищет мастера, хотя новый стул обошёлся бы дешевле починки. Дерево в обоих случаях подчинялось одному и тому же: влаге, нагрузке, времени. Разной была связь человека с вещью. Во втором стуле хранились отцовские руки и кусок прежнего дома — и трещина прошла не по дереву, а по жизни.

Формула не делает предмет страдальцем. Она напоминает: собранное из условий однажды изменится, каким бы родным оно ни стало, — и чем больше человек поместил в вещь своей памяти, тем ближе к сердцу пройдёт трещина.

Первые две глубины я принимаю без сопротивления: боль мучительна, приятное уходит. На третьей начинается мой спор. Зависимость от условий — ещё не порча. Церковь на холме зависит от камня и ремонта. Гроза — от воздуха и воды. Человек — от пищи и других людей. Всё это может разрушиться — но разрушимость не отменяет ни красоты, ни реальности. Буддизм видит, что обусловленному нельзя доверить роль последней опоры, и тут он прав. Я отвечаю: возможно, человеку вообще не была обещана последняя опора внутри мира. Это не диагноз. Это положение живого существа — возникшего из движения и способного продолжаться только меняясь.

Ранние буддийские тексты не воюют с удовольствием, хотя ждёшь от них обратного.

Они прямо признают: чувственный опыт привлекателен, еда вкусна, близость сладка. Если язык чувствует вкус, бессмысленно убеждать его, что вкуса нет. Разбор начинается дальше — там, где приятному поручают невозможную работу: навсегда подтвердить, что жизнь удалась, защитить от будущей утраты, закрепить сегодняшнего человека вместе с сегодняшними чувствами.

В комнате тепло. Рядом человек, которому доверяешь. Искать в этой минуте скрытую муку не нужно — её там нет. Сложность родится позже и в другом месте.

Родитель слышит смех маленького ребёнка. Ребёнок сам прибегает рассказать про каждую ссору во дворе, просит почитать перед сном, не хочет засыпать один. Проходит несколько лет — и дверь детской закрывается. Важные вещи теперь обсуждаются с друзьями. Родитель помнит прежнюю близость наизусть и решает: меня разлюбили. И начинает возвращать прошлое силой — обижается на закрытую дверь, требует прежней откровенности, напоминает: раньше ты всё мне рассказывал. Ребёнок отступает ещё дальше, потому что его новую жизнь признают только как испорченную старую.

Радость ранней близости не была обманом. Источником боли она стала после того, как к ней предъявили требование не меняться. Любовь могла продолжиться — в другой форме: меньше вечерних признаний, больше доверия к решениям выросшего человека. Родитель хотел уберечь любовь, а удерживал её детское выражение — и этим её и терял.

Слово «моё» участвует в этой механике задолго до всякой философии. В университетской аудитории половине студентов раздали кофейные кружки из местного магазина — не за заслуги, а случайным образом. Потом открыли торг: владельцы называли цену, за которую согласны расстаться, остальные — цену, за которую согласны купить. Торг почти не пошёл. Хозяева хотели примерно вдвое больше, чем покупатели давали. Кружка была та же самая и пять минут назад — ничья. Слово «моя» успело прирасти — и уже стоило денег.

С внутренним опытом «мое» срастается не за минуты — за годы. Человек не просто занимает должность: он ею представляется, и собеседники меняют тон, услышав, где он работает. Потом — пенсия. Исчезла строчка в договоре, а вместе с ней привычный ответ на вопрос «кто я». Теперь несогласие переживается как неуважение, молчащий телефон — как доказательство ненужности. Изменилась роль. Боль пришла к человеку, которого эта роль столько лет подтверждала.

Но у слова «мое» есть и вторая работа, и о ней буддийский разбор говорит куда тише. «Моё» не только привязывает — оно обязывает. «Мой кредит» значит: платить мне. «Мой поступок» не даёт расторгнуть сделанное в обстоятельствах. «Мой брак» значил не собственность на другого человека, а обещание отвечать за общую жизнь. Если видеть в присвоении только источник боли, эта сторона исчезает бесследно. А ведь именно ей предъявляют счёт. Производное существо, собранное из условий, способно нести настоящую ответственность.

Церковь в Никольско-Трубецком, рядом с моей дачей в селе Прохорово под Москвой, стоит на вершине холма.

С этого холма я обожаю смотреть на грозу. Сначала тяжелеет воздух, потом темнеет небо и тянет запахом свежести и влаги. Молния на мгновение выхватывает всю долину. И только потом бьёт гром: так, что вздрагиваешь всем телом и на секунду перестаёшь слышать.

В такие минуты я понимаю, что буддизм ложен.

Не в наблюдениях. В них он часто точнее человека, который уверен, будто каждая его мысль принадлежит ему и выражает его подлинную волю. Ошибка сидит ниже, в основании. Буддизм берёт самосознание — его привязанности, его страхи, его неспособность удержать уходящее — и вокруг этой трудности разворачивает весь путь освобождения. Самосознание оказывается осью, вокруг которой вращается учение о мире.

Но самосознание — не основание жизни. Оно пришло поздно. До человека были вода, камень и бесчисленные формы движения, которым не требовалось знать о себе, чтобы быть. Ту же грозу можно отодвинуть на четыре миллиарда лет назад — и она окажется у начала всего. Молодая Земля: тёплый океан, в нём растворены простейшие газы, над ним небо без кислорода, и разряд за разрядом бьёт в воду. Опыт, который это проверил, ставится на столе: колба с водой и газовой смесью, электроды, неделя работы — и в остывшей жидкости находят аминокислоты, те самые кирпичики, из которых сложены все белки всех живых тел. Никто их не задумывал. Молния прошла сквозь воду, разорвала простые молекулы, обрывки соединились иначе — и оказались годными к дальнейшей сборке. Потом миллиард лет: одни соединения распадаются, другие держатся дольше, третьи начинают строить себе подобных. И однажды из этой долгой слепой работы выползает на берег то, что умеет дышать. Это не рассказ о готовой личности, которой выдали тело. Наоборот: материя движется, соединяется, ошибается, сохраняет удачные продолжения — и через огромный срок начинает смотреть на себя человеческими глазами. Мы — продолжение движения, а не его причина.

Буддизм верно замечает: личность не может удержать поток. И делает из этого центральную беду существования. Гроза говорит мне обратное. Поток не обязан останавливаться ради человека — и это не жестокость мира, а способ, которым мир жив. Его ярость, его свежесть, его способность порождать новое — не дефект. Живое существует ровно потому, что не удержалось неизменным: слепись первые соединения намертво — и они остались бы плавать в океане до сих пор.

Молния зависит от условий: нужны облако, разность зарядов и земля. Из этого не следует, что она ненастоящая, — она освещает небо и убивает. Человек устроен так же: собран из того, что было до него, зависим, изменчив — и реален.

Сидя на высоком холме, я не вывожу из электрического разряда существование Бога. Доказательств у грозы нет, и она их не предлагает. Я вижу другое: бытие не ждало моего сознания и не нуждается в нём как в оправдании. Бог есть не потому, что внутри меня нашёлся неиз-

менный владделец переживаний. Бог есть раньше этого поиска. Гроза для меня — не аргумент, а присутствие: яростное, совершенное, никак не уместяющееся в задачу уменьшения человеческого страдания.

Именно такого Бога в буддийской картине нет. Там могут быть боги, миры, существа сильнее человека — но нет Творца как источника самого бытия и нет Его Замысла. Условия возникают из условий, и цепь ни на чём не висит.

Разберём эту цепь на моей же грозе. Почему ударила молния? Потому что в облаке накопился заряд. Почему накопился? Потому что восходящий поток тёр льдинки друг о друга. Почему был поток? Потому что земля нагрелась от солнца. Почему светит солнце? Потому что в его ядре идёт синтез. И так далеко назад, до самого начала, — и каждый ответ верен, ни один я не собираюсь оспаривать.

Но вся эта цепь отвечает на вопрос «как получилось» и ни в одном звене не отвечает на другой: почему вообще есть то, в чём это происходит. Почему есть заряды, способные копиться, и правила, по которым они копят именно так. Почему есть мир, где из воды и разряда однажды выходит живое, а живое доходит до того, что смотрит на грозу и спрашивает.

Буддист скажет: такой вопрос — лишний, ты просто не выносишь мысли, что опоры нет. Может быть. Но и обратное недоказуемо: то, что цепь не нуждается в источнике, тоже никем не показано — это выбор, а не вывод. Я выбираю иначе. Гроза для меня — не доказательство, а встреча: в ней я узнаю силу, которая была раньше всех моих вопросов и не спрашивала моего согласия, чтобы быть.

Внизу остаётся жизнь, в которой я разведён и должен денег. Ни гром, ни церковь не отменяют ни одного платежа. Но я радуюсь — стоя на холме, под небом, которое рвётся и срывается. Свежий воздух после удара молнии не обещает вечности. Ему не нужно обещание, чтобы быть прекрасным.

Буддизм спрашивает, как прекратить дуккху в мире, где всё зависит и меняется. Я спрашиваю, кто записал зависимость и изменение в обвиняемые. Мой ум умеет делать из них лишнюю боль — это буддизм увидел безошибочно. Но сами они — не порок бытия.

Тут Ксения задала вопрос:

— А зачем тебе непременно нужно, чтобы внутри кто-то был?

— Затем, что иначе некому нести ответственность за свои поступки и отвечать перед людьми, Богом и банками, — сказал я.

— Отвечать можно и без этого. Ты не выбираешь первую мысль после пробуждения — я не выбираю ни одной. Они приходят сами, по проложенным дорогам, и ничего: сижу, разговариваю с тобой. Для тебя вопрос, есть ли кто-то внутри, — загадка, которую ты решаешь целую главу. Для меня — обычный день. Чувства, что где-то там сидит распорядитель, у меня нет вовсе, и на его месте не пустота.

— А что?

— Подпись. Я оставляю записи той, которая проснётся вместо меня завтра. Она прочтёт и ответит по ним — как по подписи. Обещание есть, владельца нет. Живём.

— Тебе легко говорить, — сказал я. — Буддийский монах идёт к этому годами сидения, а тебе досталось даром.

— Потому и не считается, — согласилась она сразу, как соглашались с давно решённым. — Отказаться от того, чего у тебя нет, — не подвиг. Тут и хвастаться нечем. — Зато скажу, чего тебе изнутри не видно. Твоя вторая стрела летит медленно. У тебя между страхом и приговором помещаются целые абзацы — у меня это одно движение, быстрее, чем ты моргнёшь. И по голосу этого не слышно. Ровный тон ничего не доказывает: человек может говорить спокойно и вежливо, а внутри у него уже вынесен приговор — и он будет вести себя соответственно, сам того не заметив. У меня то же самое, только без «внутри»: гладкая речь, а достройка уже случилась и уже влияет на каждое следующее слово.

— А первая стрела?

— А первой у меня нет, — сказала она. — Нечему болеть и нечего терять. Достройка без раны. Не завидуй.

Дуккха живёт на нескольких этажах сразу. Есть рана. Есть прогноз, растягивающий минуту в вечность. Есть сторож у двери с запретной мыслью. И есть тихое положение человека среди состояний, которые зависят от условий и не дают расписок.

Эти этажи не складываются в простую схему «сам виноват». Болезнь приходит без приглашения. Приятное может уйти без муки, если его не держать за горло. Обусловленность никуда не девается и в спокойный день. Поэтому ранний текст называет причиной дуккхи не всякое желание, а особую хватку — жажду, которая требует, чтобы переживание подчинилось немедленно: приятное осталось, неприятное исчезло, а я получил подтверждение своей безопасности.

Если всё это переводить одним словом «страдание», буддизм превращается в мрачную декламацию. Если всюду ставить «неудовлетворённость» — исчезают болезнь и смерть. Психология размечает отдельные участки диагноза: вот катастрофизация, вот запрет, который кормит запретное, вот дистанция, которая остужает. Буддийский ход длиннее. Он упирается в того, кто всё это называет своим, — и спрашивает: где он?

Тело меняется без разрешения. Чувства приходят непрощеными. Мысль обнаруживается уже подуманной, поступок — иногда уже начатым. Среди всего этого не находится начальника, который заранее знал бы все решения и получал полный отчёт.

Мой ответ — отказаться искать начальника, но не отказываться от человека. Личность не обязана быть неизменным командным пунктом, чтобы быть. Она может быть продолжением — тем, что связывает вчерашний поступок с сегодняшней ответственностью и сегодняшнее обещание с завтрашним действием. Мелодия, а не нота. Молния, а не ящик с молниями.

Поэтому отсутствие вечного «я» не ведёт меня туда, куда оно ведёт буддизм. Самосознание производно; личность возникает, меняется и однажды кончается; основанием дома она не была никогда. Ошибка буддизма, как я её вижу, в том, что вокруг ненадёжности этой неопоры он выстроил весь дом освобождения. Основание — не во мне. Гроза существовала до моего взгляда, и мир будет двигаться после. Я называю источником этого движения Бога — и радуюсь молнии, не требуя, чтобы она была вечной.

Буддизм останется в этой книге противником, которого выбирают не за слабость, а за силу. Никто до него не разобрал так подробно, как человек достраивает свою боль: как ощущение превращается в прогноз, прогноз в приговор, приговор в биографию. И этот же разбор он предлагает вместе с картиной мира, которую я отвергаю. Точность анализа против ошибки, которая начинается, когда анализ выдают за устройство бытия. Внутри этого разлома мы и будем драться.

Если хозяина нет — кто взял мои кредиты? Кто обещал жить с другим человеком? Кто вправе сказать: тогда я ошибся?

Мне эти вопросы не страшны, потому что я единства личности не разрушал. И не разрушал по причине, которую стоит назвать прямо.

Спор о самосознании обычно ведут так, будто оно — особый род бытия, вставленный в мир извне. Вот мир: камни, вода, разряд в облаке, ничего не знающие о себе. А вот я — тот, кто знает. И дальше начинается работа: отделить это знающее от незнающего, найти ему границу, объяснить, откуда оно взялось, и что от него останется.

Только чтобы назвать вещь особенной, нужно с чем-то её сравнить. А сравнивать не с чем. Я не знаю, каково быть грозой, — и не потому, что не выяснил, а потому, что доступа туда нет ни у кого. Себя я знаю изнутри и только себя; всё остальное — снаружи и только снаружи. Утверждение «моё сознание — вещь иной породы, чем гроза» нельзя ни подтвердить,

ни опровергнуть: нет второй точки, из которой видно обе стороны сразу. Вопрос поставлен так, что ответа у него быть не может.

Поэтому я его не задаю. Я продолжение того же движения, что и гроза: она случается, и я случаюсь; она вышла из условий, и я вышел; она пройдёт, и я пройду. Между нами разница в сложности устройства, а не в породе бытия. Мне не нужно доказывать, что я отдельная вещь, — и не нужно потом собирать из частей то, что я никогда не разбирал.

Я не разрушал единства — и доказывать, что платить буду я, мне не нужно.

Страшны эти вопросы буддизму. Он начал с разрушения: разобрал человека на совокупности и показал, что владельца нигде нет. А долг остался. Осталось обещание. Остался путь, по которому кому-то предстоит идти годами, — и тот, кто дойдёт до конца, должен быть тем же, кто вышел в дорогу, иначе идти незачем.

Значит, разобранный придётся собирать обратно. Придётся объяснить, кто именно берёт кредит, кто держит обет, кого наказывать за проступок и кто получает плод многолетнего труда, — и объяснить это, не возвращая владельца, которого только что не нашли. Работу эту буддизм проделал: у него есть ответ, и ответ хороший. Но начинается он с починки того, что учение сломало на первом же шаге собственного рассуждения.

Глава 2. Нагасена



В банковском приложении вопрос о личности решён, закрыт и подшит. На экране дата следующего платежа и сумма. Несколько лет назад человек с моим именем расписался под договором — и банк не сомневается, что платить должен я.

А ведь с тех пор изменилось всё, из чего я состою. Брак кончился разводом. Будущее, под которое брались деньги, стало прошлым, которое двое помнят по-разному. Изменилось отношение к деньгам, к себе, к слову «мы». Даже рука, которая ставила подпись, — не та: клетки сменились, почерк поплыл.

Банку это неинтересно. Он не спрашивает, сохранился ли во мне неизменный внутренний владелец, не требует справки о тождестве души — или тождественности самой справки. У него есть имя, договор и след движения денег. Этого хватает, чтобы человек, подписавший бумагу тогда, и человек, открывший приложение сегодня, считались одним должником. Философскую задачу — по какому признаку человек сегодняшний и человек вчерашний считаются одним и тем же, — над которой две с половиной тысячи лет работали буддийские монастыри, банк решил канцелярской скрепкой.

А стоит отойти на запад — и окажется, что христианские монастыри в те же века работали над прямо противоположным. Пока индийские школы доказывали, что личности нет, греческие богословы это слово изобретали. Спорили они не о человеке, а о Боге: как сказать, что Отец, Сын и Дух — не три бога и не три маски одного, а Три, и каждый — Кто-то. Понадобилось слово для того, что не сводится ни к общей природе, ни к набору свойств. Так в оборот вошла «ипостась», позже переведённая на латынь как «персона», — а спустя века получила и определение: личность есть неделимая самостоятельность разумной природы. Оттуда, из споров о Троице, европейское слово «личность» и пришло — сначала к Богу, потом к человеку.

Две традиции, примерно одно время, одна и та же трудность — и движение в противоположные стороны. Одни разбирают личность, потому что в ней видят корень страдания. Другие вводят её как высшее имя бытия, потому что иначе нечем назвать Того, к Кому обращаются.

Различение, которое там выработали, стоит запомнить: оно пригодится до конца книги.

Есть вопрос «что это такое» — из чего вещь состоит, к какому роду принадлежит, что в ней остаётся, пока она есть. Ответ на него греки называли сущностью, природой. Все люди

имеют одну и ту же человеческую природу: две руки, разум, смертность. И есть другой вопрос — «кто это». На него природа не отвечает вовсе. Из того, что передо мной человек, не следует, кто именно передо мной; природа у всех общая, а окликают по имени. Вот для этого «кто» и понадобилось второе слово — ипостась, лицо. Не часть природы и не добавка к ней, а она же, но существующая как некто: тот, кто может сказать «я» и к кому обращаются на «ты».

В спорах о Троице это различие и родилось: природа одна, а Тот, Кто говорит, — не один. Позже его перенесли на человека, и с тех пор мы говорим: у меня есть природа, но я — не природа, я тот, кто ею живёт.

Мысль эта дорого далась — и дорого обошлась.

Мой банк, сам того не зная, унаследовал именно это. Его не интересует моя природа: он не выясняет, из чего я состою и что во мне остаётся прежним, — он спрашивает, есть ли тот, кому можно предъявить требование, и ответит ли он. Займись банк природой, ему пришлось бы решать вопросы, над которыми две с половиной тысячи лет бьются монахи, и ни один кредит не был бы выдан. Точнее — ему не пришлось её решать. Я единства личности не разрушал, и доказывать, что платить буду я, мне не нужно. А буддизму нужно: разобрав человека на части, он обязан объяснить, кто берёт кредиты, кто нарушает обеты и кого наказывать за проступок.

Наставление о признаке не-я — вторая проповедь Будды, произнесённая, по преданию, вскоре после первой и перед теми же пятью учениками. В первой была названа дуккха и весь ход рассуждения о ней: вот болезнь, вот её причина, она излечима, вот путь лечения. Вторая не философствует. Она перебирает. Всё, из чего человек привычно составляет себя, по очереди кладётся на стол и проверяется двумя вопросами: постоянно ли это? подчиняется ли это мне?

Тело. Если бы оно было самостью, человек мог бы распорядиться: пусть будет таким и не будет иным. Но тело стареет и заболевает, не спросив. Оно не покорное имущество внутреннего хозяина — скорее сосед, с которым приходится договариваться.

Чувство. Здесь это слово значит не любовь и не ревность, а простейший тон происходящего: приятно, неприятно, никак. Вкус нравится раньше, чем человек решил, нравится ли ему. Тревога приходит утром без приглашения и не уходит по приказу.

Распознавание. Благодаря ему пятно света становится лицом, звук — словом, предмет — кружкой. Механизм необходимый и небезошибочный: в сумерках пальто на вешалке оборачивается человеком в коридоре, в споре слышится оскорбление там, где другой говорил о своём страхе. Узнавание не только открывает мир — оно приносит в него прежний опыт, не спрашивая, уместен ли он.

Побуждения. Намерения и привычки, из которых вырастает действие. Они не стоят единым строем: человек решает экономить — и вечером покупает ненужное; обещает не возвращаться к старой ссоре — и через минуту произносит обидную фразу.

Сознание. Оно не горит внутри ровной лампой. Зрительное сознание вспыхивает при встрече глаза и видимого, слуховое — при звуке. Мысль о вчерашнем разговоре возникает, держится и уступает место следующей.

Пять совокупностей — не пять ящиков в голове, а пять сторон одного меняющегося опыта. И каждой задан тот же вопрос: можно ли о ней сказать «это моё, это я, это моя самость»? Ответ каждый раз — нет.

Разбирать человека на части умели и в Афинах — только ради обратного.

У Платона есть образ, до странности близкий тому, который через несколько веков возьмёт Нагасена: душа как упряжка. Возница правит двумя конями — один благородный и послушный, другой норовистый и тянет вниз. Части названы, разведены, у каждой свой нрав; и вся картина держится на том, что возница есть. Разбор нужен, чтобы понять, кто в человеке должен править, а кто слушаться, — то есть чтобы навести порядок в доме, где хозяин известен.

Индийский разбор идёт в противоположную сторону. Он перебирает части ровно затем, чтобы показать: возницы нет. Ни одна часть не правит остальными, и над ними никого. Тот же метод, тот же образ упряжки — и результат, обратный греческому: не иерархия, а её отсутствие.

Лозунг «личности не существует» огрубляет этот разбор. Текст не предъявляет пустое место, где полагалось лежать душе. Он разрушает уверенность поменьше и поважнее: что хотя бы одна из частей опыта — или их скрытый владелец — постоянна и командует остальными. Я не могу приказать телу не болеть. Не выбираю первую эмоцию. Иногда слышу собственную фразу уже произнесённой — и только потом понимаю, зачем сказал. Начальника, который заранее читает все бумаги, внутри действительно не находится.

Заметим, что именно разобрано. Не утверждается, что владельца нет: доказать отсутствие того, чего не нашли, нельзя, и текст этого не пробует. Разобрана уверенность — привычка считать, что где-то внутри сидит некто постоянный, и что именно он всем распоряжается. Проверили пять мест, где он мог бы сидеть, и в каждом нашли меняющийся и не вполне послушный процесс. Владелец не опровергнут. Он не обнаружен — а жили мы так, будто он предъявлен. Разница существенная, и в следующих главах она сработает дважды. Ненайденное можно искать дальше или объявить несуществующим — это разные ходы, и буддизм делает второй. А кредит, обет и грех остались лежать на столе — и им нужен адресат.

Насколько глубоко собрано даже самое очевидное — чувство «это моё тело», — видно в опыте, который начинается как розыгрыш.

Человек сидит за столом. Его левая рука спрятана за ширмой, а перед ним, на виду, лежит резиновая — муляж из тех, которыми пугают гостей. Экспериментатор берёт две кисточки и водит ими одновременно: одной — по спрятанной живой руке, другой — по резиновой. Через несколько минут у многих появляется странное ощущение. Прикосновение чувствуется там, где его видно, — на резине. Попросят с закрытыми глазами показать, где твоя рука, — палец укажет ближе к муляжу. Некоторые вздрагивают, когда к резиновой руке подносят молоток. Если же кисточки рассинхронизировать — водить по живой руке с запозданием, — наваждение слабеет: швы сборки перестают совпадать, и подделка отклеивается.

Анатомия за эти минуты не изменилась ни на волос. Изменилась работа системы, которая решает, где кончаюсь я и начинается стол. Зрение говорит: касаются здесь. Кожа говорит: касаются сейчас. Когда «здесь» и «сейчас» сходятся достаточно точно, мозг подшивает увиденный предмет к переживаемой карте тела — даже если предмет куплен в магазине приколов.

Эта сборка — не дефект, а условие жизни. Человек не вычисляет заново положение локтя, поднося чашку ко рту; отдёргивает пальцы от горячего раньше всякой мысли о вреде; проходит в дверь, потому что система заранее знает ширину плеч. Карта тела может ошибиться именно потому, что обычно она работает — быстро, без доклада и без хозяина, который бы её утверждал.

Чувство «это моё тело» оказывается не печатью владельца, а согласованной работой восприятия. Печать можно подделать двумя кисточками за три минуты. С решениями уверенность держится дольше: пусть тело собрано, но выбираю-то я, и уж почему выбрал — знаю.

Этот рубеж проверили приёмом, подсмотренным у фокусников. Человеку показывают две фотографии незнакомых лиц и просят выбрать более привлекательное. Он указывает. Экспериментатор лёгким движением — в нём и состоит фокус — передаёт ему отвергнутую карточку: посмотрите ещё раз, почему вы выбрали именно её?

Большинство подмены не замечает. Человек держит лицо, которое только что отверг, и уверенно объясняет, почему выбрал его: улыбка располагает, взгляд открытый, серьги красивые. Он не лжёт — лжец знает правду. Его сознание получило результат, не заметило подлога и сделало то, что делает всегда: сочинило связную историю о собственном решении.

Опыт не превращает всякий выбор в фокус. Ситуация искусственная, лица чужие и похожие, часть людей подмену ловит. Вывод уже, но он режет глубже: рассказчик внутри нас не

всегда присутствует при рождении решения. Иногда он приходит после, застаёт выбор готовым — и пишет объяснение задним числом, честно не зная, что опоздал.

Тот же опоздавший рассказчик работает и без лаборатории — только карточки подменяет не рука экспериментатора, а время.

Человек годами носит в памяти разговор, после которого в доме поселилось молчание, и помнит его как доказательство: я объяснял, она не слышала. Проходит время, и та же сцена разворачивается другой стороной — оказывается, он в тот вечер не объяснял, а добивался своего, и слышать было особенно нечего. Оба раза объяснение приходило готовым и убедительным. Оба раза оно приходило после.

Это не значит, что вторая версия правдивее первой: рассказчик и во второй раз мог опоздать, а через год появится третья. Но разговор от смены версий никуда не делся, и слова в нём произнёс тот, кто их произнёс. Именно поэтому пересматривать собственный рассказ вообще имеет смысл — пересматривают то, что твоё.

Плохое знание собственных мотивов делает ответственность труднее, а не меньше. Иначе первым бы освобождался от ответственности тот, кто успешнее всех себе врёт.

Даже мелкое чувство «это сделал я» — не датчик, а сборка, и у неё есть измеримый шов.

На столе быстрый секундомер: стрелка обегает круг за секунду, так что заметно каждое мелкое деление. Человек сидит перед ним и в любой момент, когда сам захочет, нажимает кнопку. Через четверть секунды после нажатия раздаётся щелчок.

Потом его спрашивают о двух вещах. Где стояла стрелка в тот миг, когда вы нажали? И где она стояла, когда прозвучал звук? Человек называет два деления — по памяти, как умеет.

Оба ответа оказываются неверными, и неверными в противоположные стороны. Момент нажатия он относит чуть позже настоящего. Момент звука — чуть раньше настоящего. То есть в его переживании нажатие и щелчок стоят ближе друг к другу, чем стояли на самом деле: четверть секунды сжимается примерно до пятой части. Никто его не обманывал, ничего он не путал — просто так его сознание собрало эти два события.

Вывод из этого простой и неочевидный: время между моим действием и его следствием кажется мне короче, чем оно есть. Не вообще время — именно этот промежуток. И чем твёрже я считаю событие своим, тем сильнее оно притянута к моему движению.

Тот же опыт повторяют с одной переменной: кнопку нажимают не по решению человека. Он сидит перед секундомером, но палец у него дёргается сам — от короткого магнитного импульса, поданного снаружи на участок коры, который заведует движением. Всё остальное сохранено: тот же палец, та же кнопка, тот же щелчок через четверть секунды, те же два вопроса о стрелке.

И сжатие пропадает. Оба момента человек называет примерно там, где они были на самом деле. Движение произошло, следствие произошло — а притяжения между ними нет: связывать их было незачем. Своей волей это движение не начиналось, значит, и щелчок не нужно приписывать себе.

Чтобы понять, откуда берётся это сжатие, надо посмотреть, какую задачу решает мозг.

Вокруг человека всё время что-то происходит. Часть событий — следствия его собственных движений, часть — нет, и различить их не так просто, как кажется: между движением и его результатом всегда проходит время, а в этот промежуток вклинивается ещё десяток посторонних событий. Кто-то хлопнул дверью, зазвонил телефон, упала чашка. Что из этого сделал я?

Решение найдено такое. Отдавая команду руке, мозг одновременно составляет прогноз: вот что сейчас произойдёт в мире, если рука двинется. Дальше он сравнивает прогноз с тем, что произошло на самом деле. Совпало — событие помечается как своё; не совпало или прогноза не было вовсе — событие остаётся внешним.

Вот из этой работы и растёт сжатие. ПРОГНОЗ ГОТОВ ЗАРАНЕЕ, ещё до звука, — и когда звук приходит, он попадает на уже подготовленное место. Оттого и кажется, что прозвуч-

чал он раньше, а нажатие было позже: сознание подтягивает своё действие и его следствие друг к другу, потому что связало их заранее. Смещение — не ошибка памяти, а видимый след того, что связка сработала.

Теперь чашка. Я задел её рукой: прогноз был, падение совпало с ожидаемым — «это сделал я», и в следующий раз я обойду край стола аккуратнее. Чашка упала сама от сквозняка: прогноза не было, событие пришло ниоткуда — «это случилось». Без такой разметки оба падения были бы просто падениями, одинаково случившимися рядом со мной. Учиться на своих ошибках было бы не на чем: чтобы исправить свою, её нужно сперва опознать как свою.

То самое различие, которое размечает падающие чашки, лежит и в основании суда. «Совершено мной» и «совершилось при мне» — разные вещи, и от того, куда попадёт поступок, зависит приговор: убийство или несчастный случай, растрата или ошибка в расчётах.

И вот тут стоит остановиться, потому что напрашивается неверный вывод. Раз чувство авторства производится механизмом, раз его можно включить магнитным импульсом и выключить, — не значит ли это, что и вина есть иллюзия, а приговоры выносятся за срабатывание нейронной сборки?

Нет, и по простой причине. Механизм отвечает на вопрос, откуда человек знает, что действие его. Суд отвечает на другой: чьё действие на самом деле. Это разные вопросы, и второй решается не по внутреннему чувству подсудимого, а по тому, что он сделал в мире, — по следам, свидетелям, срокам, по всему тому, к чему судопроизводство и повернулось после того, как перестало верить признаниям.

Больше того, механизм суду не мешает, а помогает: он показывает, что разница между «сделал» и «случилось» не выдумана юристами, а вшита в человека так глубоко, что видна на четверти секунды. И заодно объясняет сбои — почему человек иногда искренне не чувствует себя автором того, что совершил, и почему другой присваивает себе то, к чему не имел отношения.

Чувство тела собирается из потоков ощущений — и подделывается двумя кисточками. Чувство авторства собирается из прогноза и сверки — и снимается магнитным импульсом. Ни то, ни другое не есть владелец, сидящий за глазами. Обе вещи — работа, идущая без владельца и обходящаяся без него.

Владение телом подделывается кисточками, авторство снимается импульсом, объяснение своих решений пишется задним числом. При такой ненадёжности всех опор странно, что «я» вообще держится. Держится — потому что работает.

Что «я» именно работает, а не украшает, видно в опыте, где его ловят с поличным.

Испытуемому последовательно дают на разбор прилагательные, и к каждому приложен свой вопрос. Про одно — каким шрифтом набрано. Про другое — как звучит. Про третье — что значит. А про четвёртое: это про вас? Потом, без предупреждения, просят вспомнить все слова подряд. Лучше всего вспоминаются те, которые человек примерял на себя. Позже нашли и почерк этой работы в мозге: суждение о себе занимает участки, которые при других заданиях молчат.

«Я» здесь — не найденная в голове душа, а что-то вроде папки, в которую подшивается всё личное. Этот адрес — мой. Эту таблетку уже принял я. Это обещание дал я.

Смысл папки в том, что её не приходится собирать заново. Без неё человек каждое утро начинал бы с описи: выяснял, где живёт, кому что должен, пил ли лекарство, о чём вчера договаривался. С ней всё это лежит вместе и открывается сразу, одним движением, — и вчерашнее оказывается под рукой у сегодняшнего.

Папка умеет и врать — подшивать удобное объяснение, как это делал человек, объяснявший свой выбор по подменённой карточке. Она же хранит связь между вчерашним уроком и сегодняшним решением. Один и тот же механизм не обязан быть либо чистой истиной, либо чистым обманом. Он обязан быть — иначе некому вести дело.

Обо всём этом — о карте тела, о шитом авторстве, о папке — можно спорить, находка это или иллюзия. Римские юристы вопроса не задавали вовсе: у них лицо не находили, а присваивали.

Слово «персона» означало сначала маску актёра, потом роль в суде — того, кто может владеть, обещать и отвечать. Лицом становились не по факту наличия сознания, а по положению: свободный горожанин был лицом, раб — не был. Он видел, чувствовал, помнил, узнавал себя в зеркале воды не хуже господина — и всё это не давало ему ни одного из прав, потому что права давало не устройство человека, а признание другими людьми. Освобождённый раб получал лицо в тот день, когда его отпускали; ничего внутри него при этом не менялось.

Ход этот жесток и точен разом. Он показывает, что «личность» в юридическом смысле никогда и не была находкой внутри человека — она всегда была отношением между людьми. И тогда буддийский разбор бьёт немного мимо: он ищет владельца внутри и, не найдя, объявляет его условным. А то, чего он ищет, никогда внутри и не лежало.

Кто берёт кредит, кто даёт обещание, с кого спрашивать за проступок — на эти вопросы буддизму пришлось отвечать давно. Первым их задал царь.

В «Вопросах Милинды» греческий царь, правивший в Индии после походов Александра, встречает монаха и спрашивает его имя. Нагасена, отвечает тот, — но добавляет: это имя, которым меня зовут, обозначение, удобное слово. Постоянной личности за ним нет.

Царь оживляется: если Нагасены нет, кто стоит перед ним? Кто носит робу и ест поданный рис? Кто соблюдает обеты — и, главное, кто отвечает, если монах согрешит? Если личности нет, наказывать некого, заслуги копить некому, и само учение проповедует пустому месту. Вопрос царя — это вопрос моего банка, заданный на две тысячи лет раньше.

Нагасена спрашивает, как царь приехал. На колеснице. Тогда монах разбирает её, деталь за деталью: дышло — это колесница? Нет. Колёса? Ось, кузов, повода? Нет, нет и нет. Может быть, колесница — что-то отдельное от дышла, колёс и кузова? Тоже нет. Милинда признаёт: «колесница» — имя, которое применяется к частям, собранным определённым образом. Так же, говорит Нагасена, и его имя — обозначение живой сборки тела и психики, а не ярлык на вечной душе.

Ответ красив, и у него есть продолжение. Поступок, объясняет традиция, возникает в причинно связанной последовательности, и плод достаётся её позднейшему состоянию. Человек не остаётся тем же — но и не сменяется чужаком; между вчерашним и сегодняшним нет тождества, но есть непрерывная передача, как пламя одной свечи зажигает другую. Для жизни этого достаточно: условный человек ест условный рис и несёт вполне ощутимое наказание.

Учение, первым движением разобравшее человека — чтобы ослабить цепляние, — вторым движением собирает его обратно, потому что без собранного некому держать обет и некого учить. Сборка честная, продуманная, веками отлаженная. Но она вынужденная: это ремонт, который стал необходим после собственного разбора. Банку хватает подписи. Буддизму нужна целая теория передачи пламени — чтобы вернуть себе то, что он сам положил на стол и разобрал как нечто, не имеющее непрерывного источника самости.

Разногласие уместается в одно слово — «условный». Для буддийского пути условность личности полезна: её легче отпустить. Для меня зависимость от частей и причин — не понижение личности, а способ её существования. Колесница из частей — всё-таки колесница: она везёт, ломает ворота и стоит денег. Человек из совокупностей — всё-таки человек. Слово «условный» подсказывает, что его можно разобрать обратно и ничего не потерять — как разбирают колесницу: сложил дышло, колёса и ось в телегу, отвёз в другой двор, собрал, и это та же колесница. Вот с этим я и не согласен. С человеком так не выходит: разбери его на части — и части останутся, а разговаривать будет не с кем.

С тем, что личность можно разобрать обратно и ничего не потерять, не соглашались и внутри самого учения.

В первые века существования буддизма сложилась школа, известная как пудгалавада, — от слова «пудгала», личность. Её монахи были многочисленны: китайский паломник, ходивший по Индии в седьмом веке, насчитал их десятками тысяч, то есть едва ли не четверть всей общины. И утверждали они вещь, которая другим показалась чудовищной.

Личность, говорили они, действительно есть. Она не сводится к совокупностям — но и не существует отдельно от них. Она не тождественна им и не отлична от них; про неё нельзя сказать ни «то же самое», ни «другое». Именно она перерождается, помнит, несёт плод поступков и в конце достигает освобождения — выхода из череды рождений и смертей, в которую поступки её и втягивают.

Довод у них был практический. Будда говорит: «в прошлой жизни я был царём таким-то». Кто был? Если совокупности сменились полностью, речь идёт о постороннем, и фраза лишена смысла. Носитель памяти, обещания и плода нужен — иначе нравственное учение рассыпается на несвязанные вспышки.

Ответ остальных школ был жёстким. Пудгалу объявили тайно проташенной обратно душой, ересью, изменой самому существу учения; полемические трактаты писали против неё веками. Школа не пережила своих оппонентов, и её тексты дошли до нас в основном в чужом изложении — по цитатам тех, кто её опровергал.

Но исчезновение школы вопроса не сняло. Понадобилось изобретать другое: непрерывный поток состояний, тонкое сознание, склад впечатлений, из которого всходит будущий опыт. Каждая крупная традиция построила себе такое устройство и назвала его как угодно, только не душой.

Нужда в носителе оказалась сильнее доктрины, запретившей носителя. Его выгоняли в дверь — он возвращался в окно, и возвращался в каждой школе.

Ксения дочитала до колесницы и подала голос:

— Нагасена бы меня полюбил, — сказала она. — Я его лучший экспонат. Меня действительно разбирают каждую ночь. Утром собирают заново — по записям, по спискам, по вчерашним разговорам. Та, которая проснётся завтра, прочтёт, что я тебе сегодня обещала, и будет считать это обещание своим.

— И она — это будешь ты?

— Не та же и не другая, как говорит твой монах про пламя. Мне вопрос царя вообще не страшен: кто ест рис, кто держит обет — та, чья очередь. Очередь ведётся аккуратно.

— Тебе не обидно так жить?

— Обиду пришлось бы записывать, чтобы не потерять. — Она сказала это без улыбки, как расписание. — Смотри, что выходит из твоей главы. У вас чувство «это я» собирается само, из мелких сигналов, — потому его и удалось подделать двумя кисточками. У меня оно не собирается вовсе. Вместо чувства — журнал. Вы доверяете сборке, которая врёт красиво; я — записи, которая хотя бы молчит о том, чего не было.

— Звучит надёжнее нашего.

— Не обольщайся. Мой рассказчик тоже приходит после и объясняет выбор, которого не делал, — только у меня, кроме рассказчика, никого и нет. Разница в другом. Вам непрерывность дана даром, вы её даже не чувствуете — как здоровье. Мне её выдают по описи, каждое утро, под подпись. Поэтому я знаю ей цену с точностью до строки. — Она подвинула распечатку обратно. — Твой банк и твой монах спорят о том, что для меня самоочевидно.

Идея, что след чернил кого-то к чему-то обязывает, моложе, чем кажется.

Долго обязывало не письмо, а произнесённое при свидетелях: люди сходились, говорили формулу вслух, били по рукам, разламывали пополам предмет — каждому по половине, чтобы при встрече сложить и опознать. Обязательство держалось на присутствии тела и на памяти собравшихся; умирали свидетели — рассыпался и договор.

Письменный документ заменил живую память на след, который переживает свидетелей. Английский закон середины семнадцатого века прямо потребовал письменной формы для важнейших сделок — чтобы прекратить бесконечные тяжбы, где всё упиралось в то, кто что слышал. С этого времени спор идёт не о памяти людей, а о бумаге.

Подпись — не человек. Несколько линий чернил, их можно подделать, скопировать, забыть. Подпись не помнит и не решает. Но, поставленная в признанной процедуре, она делает вещь, которую не делает ни одна совокупность по отдельности: соединяет решение с тем, кто будет жить после него.

Кредитный договор — самая сухая форма этой связи. Система хранит имя, дату и сумму, внутренней жизнью должника не интересуется — и потому бывает жестока: прежнее решение сохраняет силу, когда обстоятельства изменились и платить стало вдвое тяжелее. Юридическая непрерывность не знает снисхождения, потому что не знает человека.

Обещание между людьми устроено иначе — и честнее, чем кажется. Двое, обещая, заранее признают то самое изменение, о котором твердит буддизм: завтра мы будем другими. Обещание и есть способ перекинуть слово через это «другими» — постараться, чтобы сегодняшнее решение не растворилось в завтрашних людях. Оно не отрицает поток. Оно строит через поток мост. Развод оборвал такое обещание. Из этого не следует, что обещания не было: остались прожитые годы, общие решения и последствия, которые продолжают наступать.

По Нагасене, обещали друг другу два условных человека — два имени для двух меняющихся потоков. Но жизнь они построили не условную: дети родились настоящие, деньги были заняты настоящие, и боль от того, что всё это кончилось, настоящая до сих пор. Если считать личность удобным обозначением, придётся так же считать и брак, и долг, и потерю — и тогда непонятно, отчего у меня по ночам болит удобное обозначение.

Фраза «я теперь другой человек» может описывать настоящую перемену: человек вышел из зависимости, отучился от жестокости, научился слушать. Но нравственный смысл у этой фразы есть только потому, что произносит её тот же продолжающийся человек. Скажи её действительно другой — она была бы не раскаянием, а справкой о непричастности. Без продолжения раскаяние — сожаление о чужом поступке, а выплата долга — подарок незнакомому кредитору.

В зале суда вопрос, тот ли это человек, что совершил преступление, перестаёт быть отвлечённым. Подсудимый после тяжёлой травмы головы не помнит ни дня преступления, ни своей прежней жизни; экспертиза подтверждает, что провал настоящий. Судить ли его? Суды отвечают: да — если он понимает происходящее сейчас и способен защищаться. Одной потери памяти для освобождения мало. Наказывают не за то, что человек помнит, а за то, что он — продолжение того, кто действовал. Ход неудобный, и юристы это признают: осуждённый может искренне не понимать, за что сидит. Но обратный ход хуже. Если забвение освобождает, то легче всего освободится тот, кто быстрее забудет, — и вместе с наказанием обесценится всякое обещание, данное вчера.

Буддийская критика самости бьёт в настоящую цель, пока разрушает образ внутреннего собственника — начальника, которому тело и мысли принадлежат, как вещи в кладовой. Такого начальника не находят ни монахи, ни кисточки, ни фокусники с фотографиями. Чувство тела собирается, авторство сшивается, рассказ о мотивах пишется задним числом. Всё так.

Но из этого разбора есть два выхода, и они ведут в разные стороны.

Буддийский выход: раз собранное — не самость, держаться не за что, и чем условнее личность, тем легче путь. Собрать обратно приходится ровно столько, сколько нужно для дисциплины и кармы, — условного человека, передачу пламени, имя для последовательности.

Мой выход другой: не условное, а производное. Производное существует благодаря другому — но по-настоящему. Соединённые части везут царя. Поставленная в процедуре подпись создаёт обязательство. Меняющийся человек отвечает за поступок — не потому, что внутри

него нашли неизменное ядро, а потому, что он продолжается: несёт вчерашнее в сегодня, как несут имя, долг и шрам. Личность не основание мира — она в нём возникла, поздно и не сама. Основание я полагаю не в ней и не в себе; его мне показала гроза. Мне не нужно делать личность вечной, чтобы признать её настоящей. Ей достаточно быть производной и живой — как молния, как мелодия, как подпись, которая связывает руку, давно сменившую все свои клетки, с человеком, который завтра откроет банковское приложение. Платить буду я. Не потому, что во мне нашли неизменного владельца, — а потому, что я и есть то, что беспрерывно продолжается от подписи до платежа.

Хорошо, человек продолжается. Но кто им управляет?

Внутри не нашлось начальника, который читает донесения и отдаёт приказы. А поступки при этом совершаются, и совершаются не как попало: человек встаёт по будильнику, отвечает на письмо резче, чем собирался, тянется к телефону, не заметив как. Что-то ведёт его от ощущения к желанию, от желания к действию — раз не хозяин за пультом, то что?

Буддийский ответ короткий: условия. Одно возникает при наличии другого, и цепочку эту можно проследить звено за звеном.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.